

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН



ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

★
Роман

Книга первая цикла «Мальчик из сада»

Александр Ладогин
Пропал без вести

«Автор»

2026

Ладогин А.

Пропал без вести / А. Ладогин — «Автор», 2026

Он знает то, чего не знает никто вокруг. Через два дня под Смоленском сядет немецкий самолёт. На борту человек, которого готовили убить Сталина. Сказать правду значит попасть в «Смерш». Промолчать значит отдать историю на волю случая. Но история уже идёт не так, как написано в книгах. На допросах звучат слова, которых нет ни в одном архиве. А в хоре Большого театра стоит человек, которого нет ни в одном личном деле. Он не поёт. Лубянка, особняк на Малой Никитской, ночной разговор со Сталиным. Каждое слово студента теперь может стоять чьей-то жизни. Возможно, его собственной. А в 2026 году его объявляют пропавшим без вести. И только один человек догадывается, где его искать. Первая книга цикла «Мальчик из сада».

© Ладогин А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
От автора	6
Глава первая. Огонь, которого не было	8
Глава вторая. Всю ночь шёл дождь	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Ладогин

Пропал без вести

Глава

Источником бывает и молчание.

От автора



Осенью 1944 года война уже ушла от Москвы далеко на запад. Летом Красная армия разгромила в Белоруссии группу армий «Центр», в последний день августа советские войска вошли в Бухарест, Финляндия искала пути к перемирию. Исход войны для Германии был пред-
решён, и в Берлине всё чаще надеялись уже не на армии, а на чудо: на новое оружие, на раскол союзников, на один точный выстрел.

Операция, о которой пойдёт речь, принадлежит к разряду таких надежд. С 1942 года при шестом управлении Главного управления имперской безопасности, ведавшем внешней разведкой, действовал орган под кодовым названием «Цеппелин». Людей для него набирали в лагерях советских военнопленных. Их ломали голодом, страхом и старыми обидами, а потом учили стрелять, прыгать с парашютом, работать на ключе и лгать. Большинство заброшенных за линию фронта агентов погибали или сдавались в первые же дни. Но в 1944 году «Цеппелин» готовил человека, от которого ждали не взорванного моста, а удара в самый центр советской власти.

Этого человека звали Пётр Иванович Таврин. Фамилия была чужой, настоящая звучала как Шило. До войны за ним тянулись растраты и побег из-под следствия, на фронте он был лейтенантом и командовал ротой, а в 1942 году подо Ржевом перешёл к немцам. Два года разведшкол сделали из него агента штучной выделки. В Риге его женой и напарницей стала Лидия Яковлевна Шилова, радистка, которой предстояло быть его голосом в эфире. В ночь на 5 сентября 1944 года переоборудованный транспортный самолёт «Арадо» высадил их в Смоленской области, у села Карманово. Дальше их путь лежал в Москву. Таврин ехал в форме майора, с документами военной контрразведки и Золотой Звездой Героя на груди, и цель у него была одна: Сталин.

Чем закончилась эта история в действительности, известно. Агентов задержали в первые часы после высадки, а их рация несколько месяцев работала под контролем советской контрразведки, передавая в Берлин то, что считали нужным передать в Москве. Историки до сих пор спорят, было ли задержание удачей бдительного патруля или итогом долгой работы, о которой не принято было рассказывать. Рассекреченные документы отвечают на одни вопросы и тут же ставят другие.

Эта книга не научное исследование. Это роман, и в его основе лежит допущение, которого не подтвердит ни один архив: в сентябрь 1944 года попадает человек из сентября 2026-го. Восемнадцатилетний первокурсник, вчерашний абитуриент, который знает о войне по учебникам, семейным рассказам и книгам, прочитанным ночами перед экзаменами. У него нет ни оружия, ни знакомых, ни права на ошибку. У него есть только знание, и очень скоро он поймёт, что знание в чужом времени опасно. Оно способно спасти, но может стать и главной уликой.

Меня занимало не столько само перемещение, сколько то, что происходит с человеком, когда привычный мир исчезает за одну секунду. Как работает память под страхом. Как меняется голос, когда тебе не верят. Что остаётся от уверенности поколения, выросшего с телефоном в руке, когда этот телефон становится куском мёртвого стекла, а его хозяин становится подозреваемым. И что происходит с людьми по другую сторону стола: со следователями, контрразведчиками, солдатами, для которых война не тема реферата, а четвёртый год жизни. Для них в этой жизни давно всё ясно, кроме одного: кто сидит напротив, враг или нет.

Всё, что касается операции «Цеппелин», её участников, хронологии и обстоятельств, опирается на опубликованные источники. Там, где источники молчат или расходятся, я позволил себе домысел и старался, чтобы он не спорил с известными фактами. Главный герой, его семья, офицеры, которые его допрашивают, и многие второстепенные лица вымышлены.

Название книги читается двояко. Слова «пропал без вести» стоят в миллионах извещений, пришедших в семьи за годы войны, и за каждым из них стоит человек, чья история так и не была рассказана. Но этой же формулой можно спрятать человека: так, чтобы его не нашли ни враги, ни сама история. Какой из двух смыслов окажется верным, читатель узнает вместе с героем.

Глава первая. Огонь, которого не было



I

Третье сентября две тысячи двадцать шестого года пришлось на четверг, и к вечеру Арсений Ершов понял, что устал не от занятий, а от собственного счастья.

Счастье оказалось хлопотнее, чем он думал. Его приходилось всё время проверять, как проверяют в толпе, на месте ли кошелек. Утром, проходя через турникет Шуваловского корпуса, он прикладывал студенческий пропуск с тем же коротким замиранием, с каким в детстве перепрыгивал трещины на весеннем льду Оби. Турникет пищал, загорался зелёный огонёк, и это снова доказывало: всё правда. Он студент исторического факультета Московского университета, его фамилия стоит в приказе о зачислении, а в общежитии на Воробьёвых горах, на узкой кровати под окном, лежит клетчатый плед, который мать положила ему в сумку в Новосибирске, хотя он трижды сказал, что в Москве тепло.

Первой парой шла история Древнего Востока. Профессор, сухой седой человек с голосом, привыкшим к большим аудиториям, рассказывал о шумерских писцах и о том, что история начинается в ту минуту, когда человек впервые решает, что его слова должны пережить его самого. Арсений записывал, хотя знал это и так. Ему нравилось записывать. Ручка двигалась по бумаге, аудитория пахла свежей краской и чужими духами, за окном шумел Ломоносовский проспект, и всё это вместе складывалось в ощущение, которое он не умел назвать. Ближе всего было слово «допущен».

На семинаре по введению в специальность молодая преподавательница спросила, что такое исторический источник. Отвечали бойко, перебивая друг друга: летопись, грамота, монета, фотография, дневник. Она выслушала всех и сказала, что источником бывает и молчание. Если в документах о каком-то событии нет ни строчки, значит, кто-то очень постарался,

чтобы её не было, и это тоже свидетельство. Арсений поднял на неё глаза и почему-то запомнил эту фразу дословно, как запоминают телефонный номер, который ещё понадобится.

После пар он до семи сидел в Фундаментальной библиотеке над Геродотом, потом поужинал в столовой и вернулся в общежитие. Сосед по комнате, Тимур из Уфы, спал в наушниках, отвернувшись к стене. Арсений постоял у окна. Внизу, под главным зданием, лежала Москва, огромная, светящаяся до самого горизонта, и ему пришло в голову, что за три недели он ни разу не видел этот город ночью. Видел из окна, из автобуса, из вагона метро, но ни разу не стоял в нём один, без расписания, без очереди в деканат, без необходимости кому-нибудь доказывать, что он здесь не случайно.

Он надел худи, сунул в рюкзак паспорт, студенческий, кошелек и пауэрбанк, который так и не зарядил с понедельника, и вышел.

В метро он думал о доме. Новосибирск в его голове всегда был немного больше, чем на карте, потому что вмещал не только улицы, но и семейную историю. Мать, Наталья Сергеевна, учительница литературы в школе на левом берегу, провожала его на вокзале и не плакала, и это было страшнее слёз. Бабушка в каждый его приезд рассказывала одно и то же: как её мать, прабабка Арсения, девчонкой стояла в войну у станка на сто семьдесят девятом заводе и точила корпуса снарядов, а зимой сорок второго пришла похоронка на её отца. Точнее, не похоронка, а извещение «пропал без вести» подо Ржевом. Бабушка говорила «похоронка», потому что так было проще. Арсений в восьмом классе полгода искал прадеда по архивным базам, нашёл номер полка, донесение о потерях, деревню, которой больше нет на картах, и дальше след обрывался. Наверное, именно тогда он и стал историком, хотя ещё не знал этого слова применительно к себе.

Потом были два года подготовки, олимпиады, ночные чтения. К дополнительному вступительному испытанию в МГУ он готовился так, будто от этого зависела жизнь, и читал далеко за пределами программы: мемуары, сборники документов, статьи из исторических журналов. В его толстой тетради в клетку остались десятки сюжетов, которые так и негодились на экзамене. Он иногда листал эту тетрадь с нежностью, как листают старые фотографии.

На «Охотном Ряду» он поднялся наверх в начале одиннадцатого. Телефон показывал девять процентов заряда. Он сфотографировал подсвеченный фасад Государственной думы, отправил матери и пошёл к Красной площади.

II

Он вышел на площадь через Воскресенские ворота, и площадь открылась ему сразу, целиком, как открывается сцена, когда поднимают занавес.

Брусчатка блестела после вечерней поливки. Слева горел гирляндами ГУМ, его витрины отражались в мокром камне длинными жёлтыми полосами. Справа тянулась Кремлёвская стена, тёмно-красная, почти бурая в электрическом свете, и над ней поднимались башни с рубиновыми звёздами. Звёзды светились ровно и спокойно, без мерцания, и Арсений подумал, что они похожи на угли, которые никогда не прогорают. Прямо перед ним, в дальнем конце площади, стоял Покровский собор, и в ночной подсветке его купола выглядели так, будто их вырезали не из металла, а из цветного стекла.

Людей было немного. Пара туристов фотографировалась на фоне Спасской башни, двое полицейских прогуливались вдоль ГУМа, девушка в светлом плаще сидела на ограждении и быстро печатала в телефоне. У Лобного места, опираясь на трость, стоял очень старый человек в тёмном пальто, слишком тёплом для сентября. Он не фотографировал и никуда не шёл. Он смотрел на Арсения не отрываясь, как смотрят на того, кого узнали после многих лет разлуки. Арсению стало неловко, он отвёл глаза, а когда посмотрел снова, у Лобного места никого не было. Над всем этим стояла особенная, плотная тишина, которой не бывает днём. Город шумел где-то за пределами площади, но сюда шум не доходил, словно площадь была накрыта стеклянным колпаком.

Арсений медленно пошёл вдоль стены. Он знал о каждом метре этой площади больше, чем любой турист, и это знание показалось ему странным грузом. Здесь казнили стрельцов. Здесь стояли торговые ряды, которые горели, и их отстраивали, и они снова горели. Отсюда в ноябре сорок первого уходили на фронт полки, и снег падал на шинели, и кинохроника потом сотни раз показывала этот снег. Он смотрел на мокрую брусчатку и думал о том, что история для него всегда была текстом, а здесь она стала местом, и между этими двумя вещами лежала пропасть, которую никакая книга не закрывает. Можно прочесть всё о ноябрьском параде, но нельзя почувствовать, как мёрзли руки у мальчишки в первой шеренге.

Куранты пробили одиннадцать. Он остановился и дослушал до последнего удара, хотя знал мелодию с детства, по новогодним трансляциям, когда весь дом замирал перед телевизором. Здесь, под самой башней, звук оказался другим: не торжественным, а тяжёлым и немного усталым, как голос очень старого человека.

Он обошёл собор, постоял у памятника Минину и Пожарскому, спустился к Москве-реке и посмотрел на тёмную воду с отражениями фонарей. Усталость пришла не сразу. Сначала она пряталась за восторгом, потом стала просачиваться в ноги, в плечи, в глаза. Он вспомнил, что встал в семь утра, что весь день был на людях, что три недели жил на нервах и ни разу толком не выспался. Тело, которое до сих пор слушалось его, как хорошо обученная собака, начало тихо просить о покое.

Он поднялся обратно и пошёл к Александровскому саду.

У Могилы Неизвестного Солдата было пусто. Вечный огонь горел в бронзовой звезде, пламя металось на ветру, вытягивалось и снова припадало к металлу, и в его отсветах оживали буквы на граните. Арсений остановился. Он бывал здесь в первый же день после приезда, днём, среди толпы, и тогда почувствовал только положенное волнение. Сейчас, ночью, один, он почувствовал другое: что под этой плитой лежит человек, о котором никто ничего не знает, и что это может быть кто угодно. Даже прадед. Даже тот Иван Ершов из донесения о потерях, чей след оборвался у деревни, которой больше нет. Мысль была детская, нелепая, он сам это понимал, и всё равно не мог отвести глаз от огня.

Потом он прошёл чуть дальше, мимо грота у подножия Средней Арсенальной башни, и сел на скамейку под старыми липами. Отсюда огонь был виден сбоку, маленький, беспокойный, как свеча в большой комнате.

Он достал телефон. Четыре процента. Начал писать матери: «Мам, я сижу в Александровском саду, тут Вечный огонь, и я думаю про прадеда, представляешь...» Палец замер над экраном. Он хотел дописать главное: как ему здесь одновременно хорошо и страшно, но не находил слов, и пока он искал их, экран мигнул и погас.

Арсений посмотрел на чёрное стекло, в котором отражался кусочек огня, и усмехнулся. Ладно. Утром напишет. Пауэрбанк, конечно, тоже был пуст.

Он откинулся на спинку скамьи. Липы шумели над головой. Где-то очень далеко гудела машина. Огонь продолжал метаться в своей звезде, и последнее, что запомнил Арсений перед тем, как закрыть глаза, было это пламя, которое никак не могло успокоиться. Он хотел посидеть минуту, ну две, и подняться. Он не заметил, как минута растянулась и стала сном.

III

Сначала был холод. Он пробрался под худи, лёг на шею мокрой ладонью, и сквозь сон Арсений подумал, что надо бы встать и закрыть окно. Потом его толкнули в плечо, грубо, с размаху, так что голова мотнулась и ударилась о спинку скамьи.

— Встать! Документы!

Голос был резкий, с южным мягким «г», и в нём не было ни капли сомнения в своём праве так говорить. Арсений открыл глаза и ничего не увидел. Не полумрак, к которому привыкает зрение, а настоящую темноту, плотную, как вода. Потом в эту темноту ударил луч фонарика, прямо в лицо, и он зажмурился.

— Сейчас, сейчас, — пробормотал он, заслоняясь ладонью. — Извините. Задремал.

Полиция, подумал он. Конечно, полиция. Сад, наверное, закрывается на ночь, а он тут разлёгся. Сейчас проверят паспорт и отпустят. Он поднялся, нашаривая ногой рюкзак, и фонарик опустился ниже, на грудь, и в его отражённом свете Арсений разглядел тех, кто стоял перед ним.

Их было двое. Тот, что светил, был невысокий, плотный, лет тридцати пяти, в фуражке и гимнастёрке, перетянутой ремнём, с погонами, на которых что-то поблёскивало. Поперёк груди у него висел автомат с круглым диском. Арсений узнал его сразу, как узнают предмет из учебника: ППШ. Второй, совсем молодой, худой, с оттопыренными ушами, держал винтовку, и на конце её тускло светился штык. Не пластмассовый. Настоящий, с тонкой полоской отражённого света вдоль грани.

Арсений улыбнулся. Улыбка вышла неуверенной, но он постарался.

— А-а, — сказал он. — Реконструкция. Вы из какого клуба? Или это съёмки? — Он оглянулся, ища камеру, оператора, свет, хоть что-нибудь. — Ребята, ну правда, я просто сидел.

— Ты мне тут не дури, — сказал старший, и Арсений понял, что тот не играет. Игру выдают паузы, взгляд в сторону, ожидание реакции. В этом голосе ожидания не было. — Ночной пропуск есть?

— Какой пропуск?

— Фамилия.

— Ершов. Арсений Ершов. Я студент МГУ. Слушайте, я правда...

— Документы.

Он расстегнул рюкзак, достал паспорт и протянул. Протянул так, как привык с детства: открыто, уверенно, с лёгким нетерпением человека, у которого всё в порядке. Тот, кого Арсений почему-то сразу посчитал сержантом, взял книжечку двумя пальцами и поднёс к фонарику.

И лицо его изменилось.

Арсений потом много раз вспоминал эту секунду. Он видел, как люди удивляются, злятся, пугаются, но никогда не видел, чтобы человек за одно мгновение превратился из уставшего патрульного в зверя, почуявшего опасность. Сержант смотрел на бордовую обложку, на золотого двуглавого орла, на надпись под ним. Губы его шевельнулись, беззвучно складывая слова. Потом правая рука, не выпуская паспорта, легла на автомат.

— Товарищ сержант, — шёпотом сказал молодой, заглядывая через плечо. — Глянь... Орёл.

— Вижу. — Сержант поднял глаза на Арсения. — Руки. Руки, говорю, чтоб я видел. Медленно.

— Это паспорт, — сказал Арсений. Голос его вдруг сел. — Обычный паспорт. Российский.

— Российский, — повторил сержант без всякого выражения. — Федерация, значит. Кругом, лицом к дереву.

Они обыскали его быстро и умело. Чужие руки прошли по бокам, по карманам, по ногам до щиколоток. Из кармана худи вынули мёртвый телефон, из джинсов достали кошелек. Молодой взял рюкзак и закинул себе на плечо, держа его на отлёте, будто там могла лежать бомба. Арсений стоял, упёршись ладонями в шершавую кору липы, и чувствовал, как в нём одна за другой сменяются эмоции, слишком быстро, чтобы успеть их назвать. Раздражение. Обида. Злость на этих ряженых, которые не понимают шуток. Потом мысль, холодная и очень ясная: это не шутка. Они не знают, что это шутка. Они правда готовы стрелять.

Он подумал, что мог бы побежать. Подумал и сам удивился этой мысли. Потом посмотрел на штык, который молодой держал в полуметре от его спины, и не побежал.

— Пошёл. Прямо, — сказал сержант.

Они двинулись по дорожке, и Арсений, повернув голову, посмотрел туда, где должен был гореть Вечный огонь.

Огня не было.

Не было бронзовой звезды, не было гранитной плиты, не было букв, которые оживали в отсветах пламени. Там, где час назад он стоял и думал о прадеде, лежал тёмный газон, и над ним темнела стена, огромная, глухая, без единого огонька. Он поднял глаза выше, к башням. Звёзд на башнях не было видно. На их месте угадывались бесформенные тёмные сгустки, будто кто-то закутал их в мешковину.

Он остановился, и его тут же подтолкнули в спину.

— Шагай.

— Подождите, — сказал он. — Там был огонь. Вечный огонь. Куда он делся?

Никто не ответил. Сержант даже не повернул головы. А Арсений шёл и пытался сложить в уме то, что не складывалось. Свет могли отключить. Авария на подстанции, такое бывает. Но Вечный огонь горит от газа, его не выключают рубильником. И гранит не исчезает за час. И газон не вырастает за час на месте мемориала, который стоит здесь с шестьдесят седьмого года. Он знал эту дату, как знал сотни других дат, и сейчас она торчала у него в голове, как гвоздь, и не давала мыслям двигаться дальше.

Они вышли из сада к Манежной площади, и Арсений перестал думать.

Площадь была тёмной. Не было подземного торгового центра с куполом, не было фонтанов, не было фонарей. Слева угадывалась длинная приземистая громада Манежа, справа поднималась гостиница «Москва», и в её окнах, во всех до единого, не горело ни огонька, только кое-где белели наклеенные крест-накрест бумажные полосы. Пахло угольным дымом, сырой листвой и, неожиданно, лошадьё. Где-то далеко, за домами, процокали копыта и проскрипело колесо. По улице, ведущей к Тверской, медленно прополз грузовик с узкими щелями вместо фар, и его мотор кашлял, как простуженный старик.

А над всем этим висело небо.

Арсений поднял голову и увидел звёзды. Не две-три самые яркие, которые пробиваются сквозь московскую засветку, а все сразу, тысячи, густо, до самого горизонта, и через всё небо тянулась бледная полоса Млечного Пути. Он видел такое небо только в детстве, на даче под Бердском, когда отец выключал свет на веранде и говорил: «Смотри, Сенька, вот это и есть космос». Здесь, в центре Москвы, такого неба не могло быть. Оно было невозможнее любого автомата и любого штыка.

Он стоял, задрал голову, и чувствовал, как у него медленно, очень медленно уходит из-под ног земля. Не в переносном смысле. Ему действительно казалось, что брусчатка под кроссовками качнулась и поплыла, и он схватился бы за что-нибудь, но рядом не было ничего, кроме молодого конвоира с винтовкой.

— Товарищ сержант, — тихо сказал молодой. — Он, кажись, не в себе.

— Разберутся, — ответил сержант.

У угла гостиницы стояла будка с телефоном. Сержант крутил ручку, потом говорил в трубку коротко и непонятно, называя номера постов. Минут через двадцать из темноты выплыла чёрная легковая машина с горбатым капотом и маленькими, тоже прикрытыми щитками, фарами. «Эмка», — вспомнил Арсений, и само это слово, всплывшее из давно прочитанной книги, напугало его больше всего остального. Из машины вышли двое в фуражках и в длинных тёмных плащах. Сержант отдал им паспорт, кошелек, телефон, рюкзак и долго объяснял вполголоса, показывая рукой в сторону сада.

Арсения посадили на заднее сиденье, между двумя плащами. Машина тронулась. Он смотрел в окно и узнавал город и не узнавал его. Вот Театральная площадь, вот Большой театр, тёмный, с колоннами, на которых, кажется, висела какая-то маскировочная сетка. Вот улица

поднимается вверх, к площади, и на площади стоит здание, которое он знал по фотографиям, по фильмам, по сотням упоминаний в книгах. Жёлто-серое, тяжёлое, с часами на фасаде.

Это здание было единственным, что совпало. И в этом совпадении не было никакого утешения.

IV

В здании пахло табаком, мастикой для паркета и ещё чем-то казённым, что не имело названия, но узнавалось сразу, как узнаётся запах больницы. У него отобрали ремень и вытащили из кроссовок шнурки. Дежурный за деревянным барьером долго переписывал в толстую книгу содержимое его карманов, и Арсений видел, как перо останавливается над каждым предметом, будто не решаясь дать ему имя. Потом его провели по длинному коридору, где двери были обиты дерматином, а под потолком горели тусклые лампы в матовых плафонах, и оставили одного в маленькой комнате с зарешеченным окном, столом и двумя стульями.

Часы на стене показывали без двадцати час.

Он сидел, держа кроссовки без шнурков сведёнными, чтобы не спадали, и пытался думать. Мысли шли по кругу, как лошадь на корде. Это сон. Нет, во сне не бывает так холодно и так подробно. Это розыгрыш. Нет, никакой розыгрыш не выключит в Москве свет и не вернёт на небо Млечный Путь. Тогда что? Ответ лежал совсем рядом, очевидный, как камень на дороге, но он обходил его снова и снова, потому что если признать этот ответ, то придётся признать и всё остальное. Что мать не получит сообщения. Что общежития на Воробьёвых горах нет. Что его самого, Арсения Ершова, две тысячи восьмого года рождения, нет нигде и не будет ещё шестьдесят четыре года.

За ним пришли около двух.

Кабинет, куда его привели, был просторнее и теплее. На столе под зелёным абажуром горела лампа, и свет от неё лежал на сукне ровным кругом, а всё остальное тонуло в полумраке. На стене висели два портрета: Дзержинский, укололицый, с острой бородкой, и Сталин в маршальском кителе. У стены стоял несгораемый шкаф, на подоконнике графин с водой. На краю стола, придавленная пепельницей, лежала сложенная газета, и Арсений, садясь, машинально прочитал половину заголовка: «...Верховного Главнокомандующего... овладели городом Бухарест...»

А рядом с газетой, на стене, висел отрывной календарь. Толстый, наполовину истончённый, с крупной красной цифрой на верхнем листке.

«3 сентября. Воскресенье. 1944».

Арсений смотрел на этот листок, и в ушах у него начало тонко звенеть. Комната вокруг стала очень резкой, как бывает перед обмороком: каждая трещинка на сукне, каждая пылинка в круге света. Он слышал, как тикают часы, как за окном где-то далеко проезжает машина, как человек за столом перелистывает бумаги. И сквозь всё это проступала одна мысль, простая и окончательная, которую он больше не мог обойти: я не в своём времени. Я в сорок четвёртом году. Сегодня третье сентября, и тогда тоже было третье сентября, восемьдесят два года разницы, и между ними одна ночь на скамейке.

Его замутило. Он сглотнул и вцепился в край стула.

— Воды? — спросил человек за столом.

Только теперь Арсений его рассмотрел. Лет сорока пяти, сухощавый, с залысинами и глубокими складками у рта. Гимнастёрка с погонами подполковника, на которых он не сразу разглядел знаки различия. Лицо очень усталое и очень внимательное. Такие лица бывают у школьных учителей в конце четверти, подумал Арсений, и сам не понял, почему так подумал.

— Да. Спасибо.

Человек налил из графина, подвинул стакан. Подождал, пока Арсений выпьет, глядя на его трясущиеся руки.

— Моя фамилия Коржев, — сказал он. — Подполковник государственной безопасности. Меня зовут Сергей Платонович, но вам это знать необязательно. Вам нужно знать другое. Ночью, в военное время, у стены Кремля задержан человек без пропуска, без советских документов, с предметами неизвестного назначения и с книжкой, на которой нарисован царский орёл. Вы понимаете, как это выглядит?

— Понимаю, — сказал Арсений. — Вы из НКВД?

Коржев чуть приподнял бровь.

— Наркомат государственной безопасности. Уже полтора года, как отдельно. Плохо вас учили для такого дела.

Он разложил перед собой содержимое рюкзака и карманов. Разложил аккуратно, в ряд, как раскладывают улики или хирургические инструменты. Телефон. Пауэрбанк. Белый пластмассовый футляр размером со спичечный коробок. Кошелёк с банковской картой, проездным и пачкой купюр. Горсть монет. Пластиковая карточка-пропуск в общежитие. Пачка мятной жвачки. Студенческий билет. И паспорт, раскрытый на странице с фотографией.

— Начнём с простого, — сказал Коржев. — Фамилия, имя, отчество.

— Ершов Арсений Дмитриевич.

— Год рождения.

Арсений помолчал. Он знал, что сейчас скажет правду, и знал, что эта правда прозвучит как издевательство.

— Две тысячи восьмой.

Коржев не изменился в лице. Он взял паспорт, поднёс к лампе и прочитал вслух, медленно, с паузами, как читают документ на суде:

— «Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федерации. Ершов Арсений Дмитриевич. Дата рождения четырнадцатое марта две тысячи восьмого года. Место рождения город Новосибирск. Выдан ГУ МВД России по Новосибирской области». — Он положил паспорт обратно. — МВД России. Министерство. Министерств у нас нет, гражданин Ершов, у нас наркоматы. России как отдельного государства тоже нет, есть РСФСР в составе Союза. А две тысячи восьмой год наступит, если я правильно считаю, через шестьдесят четыре года. Кто вас готовил? Кто придумал эту нелепость?

— Никто не готовил. Я студент. Первый курс исторического факультета МГУ. Можете позвонить в деканат...

— Позвоним, — кивнул Коржев. — Исторический факультет Московского университета имени Ломоносова. Моховая улица. Кто декан?

Арсений назвал фамилию. Коржев записал её на листке и посмотрел на него поверх лампы.

— Нет такого.

— Сейчас нет. Будет.

— А где вы живёте в Москве?

— В общежитии. Главное здание МГУ, на Воробьёвых горах.

— На Ленинских горах, — поправил Коржев, — нет никакого главного здания. Там пустырь, огороды и деревня Воробьёво. Я там бывал до войны, на лыжах катался.

Он встал, обошёл стол и остановился у окна, спиной к Арсению. Пауза затягивалась. Это тоже был допрос. Его оставили наедине с собственными словами, чтобы он услышал, как они звучат.

Они звучали безумно.

Коржев вернулся, сел и взял телефон. Повертел в пальцах, провёл ногтем по краю стекла, нажал на кнопку сбоку, ещё раз, подольше. Экран остался чёрным.

— Что это?

— Телефон.

— Телефон, — повторил Коржев и посмотрел на аппарат, стоявший у него на столе, тяжёлый, чёрный, с наборным диском и толстым проводом. — Без провода. Без трубки. Без диска.

— Он беспроводной. Связь идёт через вышки. Через радио. Он сел, батарея разрядилась, поэтому не включается. Если бы его зарядить, я бы вам показал фотографии, видео...

— Радиостанция, значит.

— Нет. То есть да, в каком-то смысле, но...

— На какую частоту работает?

Арсений открыл рот и закрыл. Он не знал. Он никогда не задумывался, на какой частоте работает телефон, как не задумывался о том, из чего сделан воздух. Он вдруг ясно увидел себя со стороны, глазами этого усталого человека: парень в странной одежде, с ворохом непонятных вещей, который путается в собственных объяснениях и не может ответить на простейший технический вопрос о предмете, который носил в кармане. Хуже шпиона мог быть только плохо подготовленный шпион.

Коржев перевернул телефон и прочитал на задней крышке мелкие буквы.

— По-английски. «Сделано в Калифорнии». Собрано в Китае. — Он положил телефон на стол экраном вниз. — Интересно. Вы, значит, не немецкий агент, а американский?

— Я не агент!

Это вырвалось громко, почти криком, и Арсений сам испугался своего голоса. Коржев не шелохнулся. Он смотрел на него так, как, наверное, смотрел на сотни людей до него, и в этом взгляде не было ни злости, ни сочувствия. Только оценка. Арсению вдруг стало понятно, почему подследственные в книгах, которые он читал, подписывали всё, что им давали. Дело было не в побоях. Дело было в этом взгляде, под которым ты сам себе начинаешь казаться виноватым.

И одновременно с этим он заметил другое. Когда он крикнул, у Коржева на долю секунды дрогнули пальцы, лежавшие на паспорте. Не от страха, а как-то иначе. Как будто этот крик что-то ему напомнил.

Арсений не знал и не мог знать, что у подполковника Коржева был сын. Что сыну было девятнадцать, когда в июле сорок третьего он сгорел в танке под Прохоровкой. Что до войны, до того, как его в тридцать седьмом мобилизовали в органы, Сергей Платонович восемь лет преподавал историю в школе в Калинин и до сих пор иногда, засыпая, слышал звонок на перемену. Ничего этого Арсений не знал. Он видел только человека, который на мгновение отвёл глаза, а потом снова поднял их, и в них уже ничего нельзя было прочитать.

— Хорошо, — сказал Коржев ровно. — Давайте ещё раз. С самого начала. Откуда вы приехали, когда, с кем, где ночевали, кого знаете в Москве. Подробно.

И Арсений начал рассказывать. Про Новосибирск, про мать, про экзамены, про турниры и шумерских писцов, про Красную площадь, куранты и Вечный огонь. Он говорил, и чем дольше говорил, тем отчётливее слышал, что ни одно его слово нельзя проверить. Ни одного свидетеля. Ни одного человека в этом городе, который бы его знал. Ни одной бумаги, которая не выглядела бы подделкой. Его прошлое находилось в будущем, и дотянуться до него было невозможно.

Коржев записывал. Иногда переспрашивал. Иногда долго молчал. В половине четвёртого он снял трубку чёрного телефона, набрал короткий номер и сказал:

— Это Коржев. По ночному задержанию у Кремля. Да. Нет, не похоже. Думаю, надо к соседям. Пусть посмотрят. Да, предметы тоже. Жду.

Он положил трубку и посмотрел на Арсения.

— Сейчас приедет человек из Главного управления контрразведки. «Смерш». Слышали о таком?

— Слышал, — сказал Арсений. И почувствовал, как во рту стало сухо.

V

Человек из «Смерша» вошёл без стука в начале пятого. Полковник, лет пятидесяти, крупный, с тяжёлой бритой головой и маленькими очками в стальной оправе. На нём была полевая гимнастёрка без единой награды, и это почему-то пугало больше, чем пугали бы ордена. Он кивнул Коржеву, назвалсся Бережным, не уточнив имени-отчества, сел сбоку от стола, а не напротив, и долго, не говоря ни слова, разглядывал разложенные на сукне вещи.

Арсений заметил, что Коржев при нём как будто подобрался. Не испугался, нет, но стал на полтона суше и официальнее, как учитель, к которому на урок пришёл директор.

Бережной взял белый футляр. Повертел, нащупал щель и нажал. Крышка открылась с тихим магнитным щелчком, и полковник замер, глядя на две маленькие белые капельки, лежащие в углублениях.

— Ампулы? — спросил он, не поднимая глаз.

— Наушники, — сказал Арсений. — Беспроводные. Их вставляют в уши, и в них играет музыка. С телефона.

Бережной закрыл футляр так же аккуратно, как открыл, положил на место и взял пауэрбанк. Взвесил на ладони.

— Тяжёлый. Что внутри?

— Аккумулятор. Чтобы заряжать телефон.

— Взрывчатка, значит, исключается? — Бережной сказал это без тени улыбки, и Арсений не понял, шутка это или вопрос.

— Исключается.

Полковник отложил пауэрбанк, снял очки, протёр их платком и снова надел. Потом впервые посмотрел Арсению прямо в лицо.

— Я прочитал протокол, — сказал он негромко. — Сергей Платонович записал всё очень подробно. Я не буду на тебя кричать и не буду тебя пугать. Ты не мальчик, ты сам понимаешь. Поэтому я просто расскажу, как это выглядит с моей стороны, а ты послушай. — Он загнул палец. — Ночью у Кремля, в двухстах метрах от места, где работает Верховный Главнокомандующий, задержан человек без пропуска. Два. — Ещё палец. — При нём документ с двуглавым орлом и надписями, которые не мог бы придумать ни один нормальный человек. Три. При нём иностранная техника, которой нет ни у нас, ни, насколько я знаю, у немцев. Четыре. Ни одного человека в Москве, который мог бы за него поручиться. Пять. Его рассказ невозможно проверить ни в одной точке. — Он опустил руку. — Есть два объяснения. Первое: ты сумасшедший. Тогда тебя ждёт больница, и это лучший для тебя вариант. Второе: ты агент, которого готовили люди очень умные, но не понимающие нашей жизни, и легенду тебе сделали такую безумную, чтобы ты в случае провала сошёл за сумасшедшего. Тогда, — он чуть пожал плечами, — военное время. Ты историк, ты знаешь, что бывает в военное время.

Арсений знал. Он знал это слишком хорошо, и именно поэтому сейчас ничего не мог сказать. В голове у него стояли строчки из книг, которые он читал легко, как читают о чужом: «приговорён к высшей мере», «приговор приведён в исполнение». Эти строчки всегда были про других людей, про давно умерших, про тех, кого уже не спасти и не надо спасать. Теперь они стояли рядом с его собственной фамилией.

Страх, дойдя до предела, перестал расти. Арсений почувствовал, как внутри у него остывает и твердеет. Мужеством это не было, он себя не обманывал. Скорее так бывало на экзамене, когда вытягивал трудный билет: паника на секунду, а потом холодная сосредоточенность, в которой не остаётся ничего, кроме задачи.

Задача была простой. Всё, что он скажет о будущем, проверить невозможно. Значит, нужно сказать то, что можно проверить. Не через шестьдесят лет. Скоро. Завтра, послезавтра. Что-то, что знает он и не может знать никто другой.

Он начал перебирать в памяти сентябрь сорок четвёртого, как перебирают карточки в картотеке. Финляндия, перемирие, в эти дни, четвёртого или пятого. Болгария, объявление войны, кажется, пятого, а через несколько дней переворот в Софии. Варшава, восстание, которое тянется уже месяц. Всё это было не то. Политику может знать или угадать любой хорошо осведомлённый шпион, и даже если он угадает даты, это ничего не докажет. Нужно было что-то другое. Что-то, о чём в эту ночь в Москве не знает никто. Или почти никто.

И тут он вспомнил.

Вспомнил не сразу, а как бы со стороны, как вспоминают сон. Майская ночь, кухня в их квартире на левом берегу, остывший чай, мать давно спит. Толстая тетрадь в клетку. Статья в историческом журнале, которую он нашёл, когда искал материал по контрразведке военных лет, и читал до трёх часов ночи, потому что не мог оторваться. Он даже помнил, как выписывал в тетрадь главное, торопливо, сокращая слова, и как потом подчеркнул дату двумя линиями.

«Покушение на Сталина. Операция „Цеппелин“. 5 сентября 1944».

Пятого сентября. Сегодня третье. Нет, уже четвёртое, ночь давно перевалила за полночь. Значит, это случится следующей ночью.

Он закрыл глаза, и тетрадная страница начала проступать перед ним строчка за строчкой. Фамилия. Таврин. Пётр Иванович Таврин, а на самом деле Шилов, бывший лейтенант, перешедший к немцам подо Ржевом. Подо Ржевом, где пропал без вести прадед, и, читая это тогда, на кухне, Арсений почувствовал к этому человеку что-то вроде личной ненависти. С ним женщина, радистка. Шилова. Лидия Яковлевна. Самолёт. Тяжёлый транспортный «Арадо» с длинным рядом колёс под фюзеляжем, «сороконожка», чтобы садиться на неподготовленное поле. Вылет из-под Риги. Посадка в Смоленской области, у деревни с похожим названием. Гармоново? Нет. Карманово. Точно, Карманово. С ними мотоцикл. На Таврине форма майора, Золотая Звезда Героя, ордена, документы офицера контрразведки. И оружие, о котором он тогда прочитал с мальчишеским восторгом, потому что оно было похоже на выдумку из шпионского фильма: короткая трубка, которая крепится на предплечье под рукавом кожаного пальто и стреляет бронебойным снарядом. Название было немецкое, смешное, похожее на название щелкунчика. «Панцеркнакке».

Он открыл глаза. Бережной смотрел на него, не мигая.

И тут Арсению стало по-настоящему страшно, страшнее, чем у дерева под штыком, потому что он понял, как это будет выглядеть. Человек, которого подозревают в работе на немцев, вдруг выкладывает подробности секретной немецкой операции. Фамилии агентов, место, время, снаряжение. Откуда он может это знать? Только оттуда. Только от тех, кто эту операцию готовил. Каждое слово, которое он скажет, будет не оправданием, а признанием.

Он мог промолчать. Мог продолжать твердить про две тысячи двадцать шестой год и ждать, пока его признают сумасшедшим. Мог надеяться, что всё как-нибудь обойдётся.

А потом пришла другая мысль, и она была хуже первой. В той истории, которую он знал, Таврина взяли. Взяли случайно, или почти случайно, в первые же часы после посадки, на дороге. Но это было в той истории. В истории, где не было его, Арсения Ершова, на скамейке в Александровском саду. Что, если его появление уже сдвинуло колёсики? Что, если патруль, который должен был стоять на той дороге, этой ночью окажется не там, потому что был занят, например, им? Он больше не знал, чем кончится эта история. Он перестал быть её читателем. Он оказался внутри, и страница, которую он когда-то подчеркнул двумя линиями, теперь могла быть переписана.

Эта мысль решила всё.

Он выпрямился на стуле. Кроссовки без шнурков соскользнули с пяток, но он не обратил внимания.

— Товарищ полковник, — сказал он, и голос, к его удивлению, прозвучал ровно. — Я понимаю, что вы мне не верите. Я бы на вашем месте тоже не поверил. Поэтому я скажу вам

одну вещь, которую можно проверить. Через сутки. Если она не подтвердится, делайте со мной что хотите.

Бережной ничего не ответил. Только чуть наклонил голову.

— В ночь с четвёртого на пятое сентября, то есть следующей ночью, — сказал Арсений, — немцы высадят в Смоленской области двух агентов. Посадка будет у села Карманово, с самолёта, тяжёлого транспортного «Арадо». Самолёт вылетит из-под Риги. Агентов двое: мужчина и женщина. Мужчину зовут Таврин Пётр Иванович, настоящая фамилия Шило. Бывший лейтенант Красной армии, перешёл к немцам в сорок втором подо Ржевом. С ним жена, радистка, Шилова Лидия Яковлевна. У них будет мотоцикл. Таврин будет в форме майора, с Золотой Звездой Героя Советского Союза и с документами офицера контрразведки «Смерш». — Он сделал паузу и увидел, как у Бережного едва заметно сжались губы. — Задание у него одно. Добраться до Москвы и убить Сталина.

В кабинете стало так тихо, что было слышно, как шипит что-то в лампе под абажуром.

Коржев перестал писать. Ручка застыла над бумагой, и с пера на протокол упала маленькая чёрная капля, медленно расплываясь по строчке. Он этого не заметил.

Бережной сидел неподвижно. Лицо его ничего не выражало, но Арсений, который весь последний час учился читать эти лица, как учат чужой язык, увидел, что в нём что-то произошло. Не удивление. Удивление выглядело бы иначе. Это было похоже на то, как человек слышит знакомую фамилию в неожиданном месте и на долю секунды прислушивается к себе: где я это уже слышал?

Или ему показалось. Он не мог знать наверняка.

— Повтори фамилию, — сказал наконец Бережной.

— Таврин. Пётр Иванович.

— Откуда ты это знаешь?

— Я читал об этом. В две тысячи двадцать шестом году. Это есть в книгах.

Бережной снял очки и долго держал их в руке, глядя куда-то мимо Арсения, в тёмное окно. Потом надел и повернулся к Коржеву.

— Сергей Платонович, распорядитесь насчёт чая. Крепкого. И никого сюда не пускать. — Он снова посмотрел на Арсения. — А ты начнёшь сначала. Медленно. Всё, что помнишь. Каждую мелочь, каждое слово. Если чего-то не помнишь, так и говори, не придумывай. Понял?

— Понял.

— И запомни. Если ты соврал, ты умрёшь. Если ты сказал правду... — Бережной снял очки, протёр их и надел снова. — Если ты сказал правду, у тебя будут неприятности гораздо серьёзнее.

Арсений не понял, что он имеет в виду. Он поймёт это позже.

Он начал говорить. Говорил долго, сбиваясь, возвращаясь, поправляя сам себя. Одну вещь он, сам не зная почему, оставил при себе: то, что он помнил о дальнейшей судьбе этих двоих, о радиоигре, о том, сколько месяцев немецкий центр будет получать из Москвы сообщения от человека, который давно сидит в камере. Это было единственное, что у него осталось своего, и новое, незнакомое ему чутьё подсказывало, что этим не надо делиться сразу. Он первый раз в жизни подумал о собственных словах как о патронах, которые нельзя расстрелять все в первые же минуты боя, и эта мысль была чужой, взрослой и немного пугающей.

Когда он закончил, окно за спиной Коржева уже посерело. Подполковник встал, подошёл к стене и одним движением оторвал листок календаря. Под красной воскресной тройкой показалась чёрная четвёрка.

«4 сентября. Понедельник».

Арсений смотрел на эту цифру и думал о том, что где-то под Ригой, за восемьсот с лишним километров отсюда, человек по фамилии Таврин, наверное, ещё спит. Или уже проснулся и пьёт кофе, и проверяет снаряжение, и примеряет перед зеркалом погоны майора. Он никогда

не видел этого человека. Он знал о нём только из нескольких страниц, прочитанных когда-то ночью на кухне. И всё-таки теперь их жизни были связаны так тесно, как бывают связаны только жизни охотника и дичи.

Он только не знал пока, кто из них кто.

Глава вторая. Всю ночь шёл дождь



I

До десяти утра его продержали в маленькой комнате без окна, где стояли топчан, табурет и ведро в углу. Принесли чай в жестяной кружке и кусок чёрного хлеба, плотного, кисловатого, с какими-то твёрдыми вкраплениями. Арсений съел его весь, до крошки, и только потом понял, что не ел почти сутки.

Спать он не мог. Он лежал на топчане, глядя в потолок, на котором лампочка в проволочной сетке отбрасывала клетчатую тень, и думал о том, что сказал ночью. Слова, произнесённые вслух, обрели вес, какого у них не было в тетради. Там они были строчками. Здесь они превратились в обещание, данное людям, которые умели взыскивать по обещаниям.

Страх приходил волнами. Сначала он боялся, что ошибся. Что спутал дату, что это было не пятого, а шестого, или вообще в другом месяце. Что самолёт не прилетит, и тогда полковник Бережной снимет свои стальные очки, протрёт их платком и скажет кому-то за дверью короткое слово. Потом страх менялся, и Арсений начинал бояться, что не ошибся. Что всё случится в точности так, как написано, и тогда он окажется человеком, которому известно будущее, в стране и в году, где за гораздо меньшее знание платили жизнью. Он вспомнил фразу Бережного: «Если ты сказал правду, у тебя будут неприятности гораздо серьезнее». Теперь он начал её понимать.

Была и третья волна, самая тихая и самая неприятная. Он думал о Таврине и Шиловой как о живых людях. Ночью, когда он рассказывал, они были фамилиями, фигурами из статьи. Теперь, в тишине, он вспомнил ещё одну строчку из своей тетради, которую не произнёс вслух: оба будут расстреляны в пятьдесят втором году. Шиловой сейчас двадцать один, может, двадцать два. Почти его ровесница. Он своими словами открыл дверь, за которой через восемь

лет её поставят к стенке. Да, она шла убивать. Да, это война. Да, в той истории, которую он знал, её взяли бы и без него. Всё это было правдой, и ни одна из этих правд не помогала.

Дверь открылась в начале одиннадцатого. Вошёл Бережной, уже в шинели, свежевыбритый, с красными от бессонницы веками.

— Подъём, — сказал он. — Наверху должно.

Он не сказал, кому именно, но по тому, как он произнёс это «наверху», было ясно: речь идёт о людях, чьи фамилии он знал по учебникам. Абакумов. Может быть, выше. От этой мысли у него похолодели пальцы.

— Решение такое, — продолжал Бережной, стоя в дверях. — Едет оперативная группа. Ты едешь с ней.

— Я? Зачем?

— Затем, что ты единственный, кто знает, как это должно выглядеть. — Полковник помолчал. — И затем, что, если ничего не произойдёт, возвращать тебя в Москву не будет никакой необходимости. Решим на месте. Понятно?

Арсению было понятно.

Ему принесли одежду: выцветшую гимнастёрку без погон, застиранную до белизны на локтях, шаровары, кирзовые сапоги, портянки и старую шинель с прожжённой поллой. Джинсы, худи и кроссовки, его собственные вещи, сложили в мешок и унесли, и он проводил их взглядом, как провожают последних знакомых на перроне. Он долго не мог намотать портянки. Молодой боец, которого прислали ему помочь, смотрел на это с изумлением, потом молча сел на корточки и показал, как надо, быстро и ловко, как мать заплетает дочери косу.

— Ты чего, из госпиталя, что ли? — спросил боец. — Совсем разучился?

— Совсем, — сказал Арсений.

В коридоре висело мутное зеркало. Проходя мимо, он увидел в нём незнакомого парня: стриженного, бледного, в мешковатой гимнастёрке, с тёмными кругами под глазами. Парень был похож на тех, чьи лица смотрят с пожелтевших фотографий в сельских музеях боевой славы, на стендах «Они защищали Родину». Арсений остановился. Он вдруг подумал, что так, наверное, выглядел бы его прадед, если бы кто-нибудь успел его сфотографировать. И ещё подумал, что одежда меняет человека быстрее, чем время: ещё вчера он был студентом, сегодня утром стал подозреваемым, а сейчас превратился в одного из миллионов людей в выцветших гимнастёрках, и ничто в его облике больше не выдавало две тысячи двадцать шестой год. Это было одновременно облегчением и потерей.

— Шагай, — сказал за спиной голос.

Голос принадлежал старшему лейтенанту, которого Бережной приставил к Арсению. Звали его Андрей Лучко. Ему было лет двадцать шесть, он был высокий, широкоплечий. С левой стороны лица от виска до подбородка тянулся розовый глянцевого шрам от ожога, и потому казалось, что половина его лица всё время улыбается, а другая хмурится. На груди у Лучко висели две медали и орден Красной Звезды. Он смотрел на Арсения так, как смотрят на предателя, которого почему-то пока нельзя расстрелять, и не считал нужным это скрывать.

— Ты, говорят, из будущего, — сказал он на лестнице, не оборачиваясь.

— Да.

— А я, говорят, из Рязани. — Лучко хмыкнул. — Только у меня мать есть, которая это подтвердит. А у тебя кто?

Арсений промолчал. Ответа на этот вопрос не существовало, и они оба это знали.

II

Выехали в одиннадцатом часу на двух машинах. Впереди шёл открытый «виллис», где рядом с шофёром сел Бережной, а сзади, на жёсткой скамье, сидели Арсений и Лучко. За ними, отставая на сотню метров, тянулась полуторка с брезентовым тентом, в кузове которой сидели восемь бойцов с автоматами и радист с тяжёлым ящиком рации.

Москва проплывала мимо серая, неяркая, будничная. Арсений смотрел на неё жадно, как смотрят на лицо человека, которого знали ребёнком и встретили стариком. Только здесь было наоборот: он знал этот город старым, а видел молодым и измученным. По улицам шли люди в ватниках и шинелях, женщины в платках, с авоськами и бидонами. У булочной стояла очередь, длинная, молчаливая, и никто в ней не смотрел в телефон, потому что телефонов не было, и люди просто стояли, глядя перед собой или переговариваясь вполголоса. Это поразило его сильнее всего. Не руины, не военные, а именно эта очередь, где каждый был наедине с собой и со своим ожиданием.

На Дорогомиловской «виллис» обогнал колонну пленных немцев. Их вели по обочине, человек сорок, в грязно-зелёных шинелях, с опущенными головами. Конвоир шёл сбоку, закинув винтовку за спину, и курил. Москвичи на тротуаре останавливались и смотрели. Кто-то из женщин отвернулся. Мальчишка лет восьми поднял камень, но старик рядом взял его за руку, и камень упал на мостовую. Арсений проводил колонну взглядом. Он знал, что полтора месяца назад, в июле, по Садовому кольцу провели пятьдесят семь тысяч пленных, вся Москва выходила на них смотреть, а потом улицы вымыли поливальными машинами. Для него это всегда было кадрами кинохроники. Теперь у этих кадров появился мальчишка с камнем и старик, который удержал его руку, и знание стало тяжёлым, как этот камень.

За городом началось Минское шоссе. Асфальт скоро кончился, пошли выбоины, залатанные щебнем, и «виллис» скакал на них, как лодка на волне. Мимо тянулись перелески, поля, деревни. Ближе к Можайску деревни стали меняться. Сначала в них появились пустыри, потом пустырей стало больше, чем домов, а потом домов не стало совсем.

Арсений сначала не понял, что видит. Вдоль дороги, на пологом склоне, стояли печи. Просто печи, русские, белёные когда-то, а теперь закопчённые, с высокими трубами, торчащими в серое небо, как надгробия. Вокруг каждой лежал чёрный квадрат пепелища, поросший бурьяном. Их было много: двадцать, тридцать, целая улица из печей без домов. Между ними, у одной из труб, стояла землянка, накрытая досками и дёрном, и из неё шёл тонкий дымок.

— Это что? — спросил он и сам услышал, как глупо прозвучал вопрос.

Лучко посмотрел на него внимательно, будто впервые.

— Деревня, — сказал он. — Была. Немцы, когда в сорок втором отходили, всё жгли. Здесь вся дорога такая до самого Смоленска. Ты что, правда не знаешь?

Арсений знал. Он знал выражение «тактика выжженной земли», знал цифры: сколько деревень сожжено на Смоленщине, сколько жителей угнано, сколько погибло. Он мог бы написать об этом хороший реферат, с таблицами и ссылками. Но в его знании не было этих печей. Не было запаха, который даже сейчас, через два с половиной года, стоял над пепелищами: запаха старого, промокшего угля. Не было женщины, которая вышла из землянки и, прикрыв глаза рукой, смотрела на проезжающие машины без всякого выражения. Цифра «сотни деревень» оказалась пустой оболочкой, в которую никто не положил содержимого.

Он подумал, что историк, наверное, и есть человек, который всю жизнь носит в себе пустые оболочки и пытается чем-то их заполнить. А у него теперь появилась возможность заполнить их настоящим, и эта возможность оказалась невыносимой.

За Можайском, у Бородинского поля, им встретила бригада женщин, которые пахали. Плуг тащили не лошади и не трактор. Его тащили они сами, впрягшись в постромки, наклонившись вперёд так, что их платки почти касались земли. Шестая шла за плугом. Машины проехали мимо, и ни одна из женщин не подняла головы.

Арсений отвернулся. Ему было стыдно, хотя он не мог объяснить, за что. Может быть, за то, что он едет в машине. Может быть, за то, что он знает: через девять месяцев война кончится, а эти женщины ещё не знают. А может быть, за все те разы, когда он в своём времени жаловался на усталость.

В Гжатске остановились заправиться. Города не было. Были улицы, обозначенные обочинами, и вдоль них стояли обгорелые коробки каменных домов с пустыми окнами, сквозь которые просвечивало небо. Кое-где на стенах белели надписи, выведенные краской через трафарет: «Проверено. Мин нет». Возле развалин торговых рядов бойцы разгружали кирпич. Мальчишка лет десяти в огромной, не по росту, телогрейке подошёл к «виллису» и молча встал рядом, глядя на них. В руке он держал немецкую каску, приспособленную под ведро: к ней была приделана проволочная ручка. Лучко порылся в вещмешке, достал два куска сахара, завернутых в бумажку, и протянул ему. Мальчишка взял, не сказав ни слова, и убежал. Лучко проводил его взглядом, и на его лице, на той половине, что не была обожжена, мелькнуло что-то, чего Арсений не ожидал увидеть: нежность. Потом оно погасло.

— У меня брат такой был, — сказал Лучко, ни к кому не обращаясь. — Под Рязанью. Ничего, живой.

Бережной всю дорогу молчал, но в Гжатске, когда шофёр заливал в бак бензин из канистры, он повернулся к Арсению.

— Я хочу, чтобы ты понял одну вещь, — сказал он. — Я не буду тебя спрашивать, что будет дальше. Ни про войну, ни про после войны. Ни сегодня, ни потом. Если кто-то из моих людей спросит, ты не ответишь. Ясно?

— Почему?

Бережной снял очки и посмотрел на развалины, на мальчишку с каской, убегающего по улице.

— Потому что мне с этим жить, — сказал он. — А я не уверен, что смогу.

Он надел очки и отвернулся, и больше в тот день к этому не возвращался.

От Гжатска свернули на север, на грунтовку, разбитую гусеницами так, что машины ползли по колеям, как по рельсам. К вечеру небо на западе стало тяжелеть. Облака громоздились над лесом, тёмные, набухшие, с рваными краями, и ветер начал пахнуть водой. Арсений смотрел на них и чувствовал, как у него сжимается сердце. Он помнил строчку из статьи, одну из тех мелочей, которые застревают в памяти без всякой причины: всю ночь шёл дождь.

Первые капли упали на капот «виллиса», когда впереди показались крыши Карманова.

III

Карманово уцелело наполовину. Одни избы стояли целыми, с резными наличниками и заколоченными досками окнами, другие сгорели, и на их месте темнели те же печи с трубами, к которым Арсений за день так и не смог привыкнуть. Посреди села возвышалась церковь с пробитым куполом, сквозь дыру в котором виднелось небо. У колодца женщина набирала воду, и скрип журавля разносился над селом, долгий и тоскливый, как крик птицы.

Местный отдел располагался в бывшем доме не то фельдшера, не то учителя: крепком, бревенчатом, с крыльцом под навесом. Внутри пахло махоркой, сырыми шинелями и керосином. Керосиновая лампа горела на столе, хотя было ещё светло, потому что окна наполовину забила фанерой.

Из-за стола поднялся старший лейтенант, невысокий, сухой, в аккуратно заправленной гимнастёрке. Он козырнул Бережному, и полковник пожал ему руку.

— Ветров, — представился старший лейтенант.

У Арсения, стоявшего у двери за спиной Лучко, остановилось дыхание.

Он знал эту фамилию. Он видел её напечатанной в журнале, в одной строке, без имени и отчества: «группа под командой старшего лейтенанта Ветрова». Одна строка, полторы секунды внимания читателя. Человек-сноска. И вот теперь эта сноска стояла перед ним живая, с покрасневшими от недосыпа глазами, с пятном чернил на указательном пальце, с обычным усталым лицом, каких тысячи. Человек, который ничего не знал о том, что через двенадцать часов попадёт в историю. Который сейчас думал, наверное, о том, что сапоги прохудились, или что жена давно не пишет, или что начальство из Москвы свалилось на голову нехстати.

Арсений смотрел на него и испытывал чувство, для которого у него не было названия. Что-то вроде головокружения. До него дошло, что все люди, о которых он когда-либо читал, были такими же: живыми, усталыми, озабоченными мелочами и совершенно не подозревающими, что их запомнят. Что история состоит не из великих людей и великих событий, а из вот таких сырых вечеров, керосиновых ламп и старших лейтенантов с чернильным пятном на пальце, которые просто делают свою работу.

Бережной говорил с Ветровым минут двадцать, вполголоса, склонившись над картой района. Арсений слышал обрывки: «возможна выброска», «по нашим данным», «двое, мужчина и женщина», «возможно, в форме». Об источнике этих данных полковник не сказал ни слова. Ветров слушал, кивал, задавал короткие вопросы и делал пометки карандашом на полях карты. Если он и удивлялся, то не показывал этого.

Потом Бережной отпустил его расставлять посты и поманил Арсения в соседнюю комнату, маленькую, с железной кроватью и иконой в углу, которую никто не снял. Лучко остался в дверях.

— Теперь ты, — сказал Бережной. — Ещё раз. Что было в твоей истории. Именно здесь, в этом месте. Каждая мелочь.

Арсений закрыл глаза. Тетрадь проступила перед ним, как фотография в проявителе.

— Самолёт подбили зенитки, — сказал он. — Он сел где-то здесь, в поле, с повреждениями. Экипаж ушёл на запад, их потом поймали. А Таврин и Шилова выкатили мотоцикл и поехали на восток. Около шести утра их остановили на дороге. На дороге из Москвы на Ржев, у Карманова. Остановила группа Ветрова. — Он открыл глаза. — Таврин говорил быстро, торопился, говорил, что везёт срочный пакет. А Ветров заметил, что они сухие. Всю ночь шёл дождь, а на них одежда чистая и сухая. Значит, они не могли ехать издалека, как говорили. Он пригласил их в отдел отметить командировку, и там их взяли.

Бережной долго молчал.

— Зенитки, — сказал он наконец. — Значит, их подобьют.

— Да.

— Я могу позвонить в корпус ПВО. Приказать, чтобы на этом участке сегодня ночью не стреляли.

Арсений поднял на него глаза.

— А если вы прикажете, и они не выстрелят, и самолёт сядет не здесь? Через сто километров? Или долетит до Москвы?

— Вот именно, — сказал Бережной. — А если они выстрелят и сожгут его совсем, и твоя история кончится в воздухе, вместе с двумя трупами и мешком обгорелых документов?

— Тогда... — Арсений запнулся. — Тогда мы ничего не узнаем.

— Тогда мы ничего не узнаем, — повторил полковник. Он подошёл к окну и посмотрел на улицу, где бойцы из полуторки, ссутулившись под начинающимся дождём, тащили к дороге моток колючей проволоки. — Слушай меня. У тебя в голове лежит механизм. Он уже один раз сработал. Как он сработал, я не знаю. Не знаю почему. Но если в часах крутятся колёсики и часы идут, я не полезу внутрь отвёрткой. Я не буду звонить зенитчикам. Я не буду выставлять на дорогу роту. Я оставлю Ветрова там, где он стоял в твоей тетради. Я только поставлю рядом своих людей, на случай, если колёсико соскочит.

— Но я же здесь, — тихо сказал Арсений. — Я уже внутри. Ваши люди уже внутри. Вы сказали Ветрову то, чего он в той истории не знал. Колёсики уже не те.

Бережной повернулся. Арсений впервые увидел у него на лице что-то похожее на улыбку, короткую и невесёлую.

— Значит, будем смотреть в оба, — сказал он. — Это всё, что люди вообще умеют делать. С будущим или без.

Он снова посмотрел в окно. Дождь усиливался. Капли стучали по стеклу всё чаще, сливались в струйки, и сквозь них улица расплывалась, теряя очертания.

— Дождь, — сказал Бережной.

— Он будет всю ночь, — ответил Арсений.

Полковник ничего не сказал. Только посмотрел на него долго и внимательно. Это было первое. Первое совпадение. Первая строчка из тетради, ставшая погодой. Он ждал, что почувствует облегчение, но почувствовал другое: страшное, ни с чем не сравнимое одиночество. Он был единственным человеком на свете, который знал, что будет этой ночью. И это знание, как стеклянная стена, отделяло его от всех остальных людей: от Бережного, от Лучко, от Ветрова, от женщины у колодца. Они жили внутри времени. Он смотрел на время снаружи, как смотрят на аквариум, и не мог ни войти, ни уйти.

IV

Ночь они провели в сарае на краю села, у самой дороги. Сарай был старый, с прогнившей крышей, сквозь которую в двух местах капало, и пахло в нём прелым сеном, мышами и мокрым деревом. Через щель в дощатой стене была видна дорога: две колеи, полные воды, и обочина, на которой днём бойцы поставили рогатку из жердей. Метрах в пятидесяти, у крайней избы, темнела фигура часового в плащ-палатке. Там был пост Ветрова. Остальных людей Бережной расставил так, что Арсений, сколько ни вглядывался, не мог их увидеть.

Дождь шёл ровно и неумолимо. Он не усиливался и не ослабевал, он просто был, как бывает ночь или тишина, и через час Арсению стало казаться, что он шёл всегда. Шинель отсырела и пахла мокрой псиной. Портянки, которые он так и не научился правильно наматывать, сбились и натёрли пятку. Он сидел на перевёрнутом ящике, прислонившись спиной к стене, и слушал дождь.

Лучко сидел напротив, на охапке сена, с автоматом на коленях. Курил в кулак, пряча огонёк. Время от времени он вставал, подходил к щели и подолгу смотрел на дорогу.

Около полуночи он заговорил.

— Слышь, будущий. А правда, что ты знаешь, когда это всё кончится?

Арсений помолчал.

— Полковник запретил говорить.

— Знаю, что запретил. — Лучко затаился. — Я и не прошу. Просто спрашиваю: знаешь или нет?

— Знаю.

Лучко долго ничего не говорил. Огонёк самокрутки то разгорался, то гас в его кулаке.

— Чудно, — сказал он наконец. — Сидит пацан в сарае и знает. А я три года воюю и не знаю. И никто не знает. Ни генерал, ни сам товарищ Сталин. А ты знаешь. — Он хмыкнул. — Ну и как оно, знать?

Арсений хотел ответить что-нибудь лёгкое и не смог.

— Плохо, — сказал он.

Лучко поднял голову и посмотрел на него в темноте. Арсений не видел его лица, только силуэт и шрам, который поблёскивал в слабом свете из щели.

— Шрам откуда? — спросил Арсений, сам не зная зачем.

— Под Орлом. В сорок третьем. Нас на самоходке вёз один, механик-водитель, хороший парень, Колька. Попали под болванку. Колька сгорел, я вылез. — Лучко сказал это ровно, как говорят о погоде. — Я до этого в пехоте был. Ротный у нас был, старший лейтенант, в сорок втором, подо Ржевом. Однажды утром проснулись, а ротного нет. Ушёл к немцам. Ночью, через нейтралку. Нас потом три дня особисты трясали, двоих забрали, хотя они ни сном ни духом. Вот я с тех пор и думаю: встретить бы его. Не стрелять даже. Просто посмотреть в глаза. Спросить: как оно тебе, сука?

Арсений вздрогнул. Ржев. Сорок второй. Ротный, ушедший ночью через нейтральную полосу.

— Как его звали? — спросил он, и голос у него сел.

— Не помню уже. Мы его месяц всего знали. — Лучко пожал плечами. — Какая разница. Их таких много было.

Арсений не ответил. Он знал, что это совпадение ничего не значит, что Лучко прав и таких было много. И всё равно по спине у него прошёл холод.

А потом он подумал о другом, и это было страшнее. Лучко не было в его тетради. Не было в журнальной статье, не было ни в одной книге, которую Арсений читал. Он знал, когда кончится война, знал, кто будет жив через десять лет и кто умрёт, но только про тех, о ком пишут. Про Лучко он не знал ничего. Доживёт ли этот человек до мая. Вернётся ли в Рязань. Увидит ли брата. Его знание, такое огромное и страшное, оказалось узким, как луч фонарика: оно освещало несколько знаменитых фигур и оставляло в полной темноте миллионы обычных людей, которые и были этой войной. Перед этой темнотой он был так же слеп, как все.

— Весной, — вдруг сказал он, сам не ожидая. — Весной кончится.

Лучко медленно повернул голову.

— Весной, — повторил он. И больше ничего не сказал. Только самокрутка у него в кулаке вдруг погасла, и он долго не зажигал новую.

В начале второго ночи они слышали самолёт.

Сначала это был даже не звук, а ощущение: что-то изменилось в воздухе, какая-то низкая вибрация пришла сквозь шум дождя, как приходит к человеку ощущение чужого взгляда. Потом вибрация превратилась в гул. Тяжёлый, неровный, многомоторный, он шёл с запада, низко, очень низко, и рос с каждой секундой. Лучко вскочил и прижался к щели. Арсений тоже.

Ничего не было видно. Только дождь, только темнота, только серая полоса дороги. А гул нарастал, заполнял собою всё небо, и вдруг где-то далеко на юго-западе небо вспыхнуло. Короткие красные и белые росчерки потянулись вверх, к облакам, один за другим, и через секунду донеслись глухие удары, тупые, как удары кулаком в подушку.

— Зенитки, — выдохнул Лучко. — Бьют.

Арсений стоял, вцепившись пальцами в мокрые доски. Он поймал себя на том, что молится. Не словами, он не знал молитв, а всем телом, всем существом: только бы не сбили. Только бы не совсем. Он ловил себя на этом и не мог поверить: он молился о том, чтобы самолёт с убийцами благополучно сел. Потому что если самолёт рухнет и сгорит, то тетрадь соврёт, механизм Бережного сломается, а он, Арсений Ершов, окажется человеком, чьё знание не стоит ничего.

Гул прошёл почти над самым сараем. Арсений услышал, как один из моторов захлёбывается, кашляет, глохнет и снова взывает. Потом звук стал удаляться, уходить на северо-восток, снижаясь, и вдруг оборвался. Не постепенно, как затихает улетающий самолёт, а сразу, как обрывается фраза на полуслове. И через несколько долгих секунд из-за леса донёсся далёкий тяжёлый звук, похожий на то, как если бы по земле волоком протащили огромный железный шкаф.

Потом снова был только дождь.

Лучко медленно опустился на сено. Арсений остался стоять у щели. Ноги его не держали, но сесть он почему-то не мог.

Через полчаса в сарай заглянул боец, мокрый насквозь, и шёпотом позвал Лучко. Тот вышел, вернулся через несколько минут.

— Сел, — сказал он коротко. — Километрах в пяти, в поле за лесом. Посты наблюдения засекли. Полковник отправил группу на перехват экипажа. Мотоцикл не трогать. Приказ: ждать на дороге.

Арсений кивнул. Он снова прислонился спиной к стене, закрыл глаза, и в темноте под веками увидел то, чего никогда не видел: тёмное поле, мокрую траву, огромную тушу самолёта с длинным рядом колёс, накренившуюся набок. Распахнутую рампу. Двух людей, которые выкатывают по ней тяжёлый мотоцикл с коляской. Женщину, которая, оступаясь, несёт ящик с ракетой. Мужчину в кожаном пальто, который поправляет правый рукав, широкий, неудобный, скрывающий под собой что-то тяжёлое. Они прощаются с пилотами. Пилоты уходят на запад, в лес, в ночь, навстречу собственной гибели, о которой ещё не знают. А эти двое заводят мотор и едут на восток. К дороге. К Москве. К нему.

Он не знал, как долго просидел так. Может быть, задремал. Когда он снова открыл глаза, в щели стены серел рассвет, и дождь, лупивший всю ночь, начал редеть, превращаясь в морось.

Лучко посмотрел на трофейные часы на запястье.

— Без двадцати шесть, — сказал он.

V

Мотоцикл они слышали раньше, чем увидели.

Звук пришёл с запада, со стороны леса, в начале седьмого: ровное, уверенное тарахтение мотора, то пропадающее в низинах, то снова выныривающее. Арсений прижался к щели так, что доски впились ему в скулу. Рядом застыл Лучко. Дорога была пуста и серела в утреннем свете, лужи в колеях отражали низкое небо, и над полем у леса поднимался туман.

Потом из-за поворота показался мотоцикл с коляской.

Он был выкрашен пятнами, зелёными и бурными, и казался в тумане размытым, ненастоящим, как рисунок на мокрой бумаге. За рулём сидел мужчина в кожаном пальто и фуражке. В коляске, сжавшись, сидела женщина в шинели и пилотке. Мотоцикл шёл быстро, разбрызгивая лужи, и Арсений видел, как веером разлетается из-под колёс грязная вода.

У рогатки часовой поднял руку. Мотоцикл сбросил газ, качнулся и остановился. Из избы вышел Ветров, на ходу застёгивая ремень, неторопливо, буднично, как выходит человек, которому уже пятый раз за утро приходится проверять проезжающих.

И Арсений увидел, как начинает сбываться страница из его тетради.

Это было похоже на дежавю, растянутое на минуты. Каждое движение, каждая деталь вставала на своё место, как ключ в замок. Мужчина слез с мотоцикла. Он был высокий, плотный, лет тридцати пяти, с широким скуластым лицом и светлыми глазами. Под распахнутым пальто виднелся китель с погонами майора, а на кителе, слева, висели Золотая Звезда и ряд орденов, тусклых в сером свете. Он козырнул Ветрову, быстро, небрежно, как старший младшему, и сразу заговорил. Арсений не слышал слов, только интонацию: торопливую, напористую, раздражённую. Человек, который спешит и которому мешают. Он полез во внутренний карман, достал документы, протянул. Ветров взял, стал читать, не торопясь, шевеля губами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.